

Узелки

Автор:

Евгений Гришковец

Узелки

Евгений Валерьевич Гришковец

«Есть воспоминания такой яркости и отчётливости, которые не тускнеют, не размываются и не уходят в тень новых событий и переживаний... Я говорю про воспоминания, которые всегда рядом, которые под рукой как некие предметы, лежащие в кармане некой вечной, бессменной одежды, как едва заметный белый маленький шрам на ноге, руке или на лбу, бросая взгляд на который или видя его в зеркале ты всякий раз, пусть на миг, но вспоминаешь обстоятельства его появления». (Е. Гришковец)

Евгений Гришковец

Узелки

К первому изданию:

Посвящаю и адресую эту книгу неравнодушным моим соотечественникам и современникам

© Евгений Гришковец, 2020

© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2020

КоЛибри

Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Осип Мандельштам

Есть воспоминания такой яркости и отчётливости, которые не тускнеют, не размываются и не уходят в тень новых событий и переживаний. Это особенные воспоминания, они не падают в копилку памяти, откуда их трудно извлечь. Они не хранятся где-то смутными накоплениями, пассивным грузом, ненужной в повседневности массой. Это не те потускневшие, некогда пережитые радости и страдания, люди и географические пространства, для воспроизведения которых необходимы фотографии, записки, пометки и подчёркнутые строки некогда прочитанных книг, документы или встречи с участниками полузабытых событий. Я говорю про воспоминания, которые всегда рядом, которые под рукой как некие предметы, лежащие в кармане некой вечной, бессменной одежды, как едва заметный белый маленький шрам на ноге, руке или на лбу, бросая взгляд на который или видя его в зеркале ты всякий раз, пусть на миг, но вспоминаешь обстоятельства его появления.

Яркость таких особенных воспоминаний совсем не зависит от значения событий, с ними связанных. Часто это воспоминания о чём-то совсем незначительном, никому, кроме тебя, не запомнившемся, возможно, о какой-то ерунде, о которой ты никому и никогда не говорил, не видя никакой причины говорить о подобной мелочи. Но эта незабываемая мелочь живёт с тобой и никуда никогда не исчезает. Это может быть сочинённый ещё в детстве дурацкий стишок, ничего не значащая фраза, или странное, бессмысленное словосочетание, или вовсе увиденное где-то когда-то пятно на стене, убитая, сочно лопнувшая под ударом муха или бог знает когда впившаяся в горло мелкая рыбная косточка, которая доставила тебе некоторые неприятности, одна из многих за жизнь, но только именно та, что запомнилась.

Особо яркие воспоминания могут быть связаны и с огромными для тебя событиями... С чем угодно! С непостижимым и очевидным, с радостным и горестным. Это могут быть воспоминания, даже в которых нет ничего. Совсем. Воспоминания о беспамятстве тоже бывают особенными. А можно помнить темноту. Воспоминание о темноте может быть нетерпимо ярким.

Суть этих воспоминаний в их невероятной отчётливости и в непроходящей живости. Такие воспоминания случаются совсем в неподходящих ситуациях, они неуправляемы и не покидают повторяющиеся сновидения.

Однако главная особенность таких воспоминаний в том, что я ощущаю себя в них ровно таким, каким я о них вспоминаю. Именно в них, даже если это воспоминания из самого раннего детства, я вижу и осознаю себя тем, кто я есть сейчас, то есть не ребёнком, а неизменным собой.

Например, со мной живёт непроходящее воспоминание о том, как мама привела меня в детский сад. Было раннее, довольно тёмное, ничем не примечательное утро, прохладное, скорее холодное, но сухое, не дождливое. Осень тогда была или весна, не знаю. Точно не зима. Мы пришли с опозданием, детей уже одевали для прогулки. Мама спешила, но, только приведя меня в детский сад и прощаясь, она обнаружила, что забыла повязать мне шарф. Не задумываясь, мама развязала свой платок, оголив шею, и намотала его на мою. Завязывая его, она сказала: «Не потеряй», поцеловала меня и быстро ушла. Всё это я помню смутно. Потом была прогулка, которую я не помню вовсе. Не в этом суть воспоминания...

После прогулки я долго не мог развязать мамин платок. Я уже снял верхнюю одежду и шапку со вспотевшей головы, а с платком никак не мог справиться. Он был тонкий и скользкий, узел на нём затянулся. Я тянул концы узла в разные стороны и в какой-то момент уткнулся носом в мамин платок. Я сделал вдох сквозь тонкую ткань и вдруг ощутил дивный, непостижимо чудесный запах. Самый прекрасный и непостижимый запах в моей жизни. Я до этого не раз нюхал мамины духи, она давала мне подержать флаконы. Запахи были яркие, радостные и, как говорят дети, «вкусные»... Но платок пах иначе.

Мне и теперь кажется, что я помню именно запах и смог бы его узнать немедленно из всех других. Мне так кажется, хоть я знаю, что самого запаха я не помню и помнить не могу, я помню другое... К тому же понятно, что то был запах смеси разных духов.

Вдохнув через мамин платок тот запах, я ощутил, что моё сердце наполнилось и вот-вот разорвётся от невыносимой любви, от тоски и страшной силы чувства покинутости. Мама мне в тот миг стала жизненно необходима, мне до смерти стало нужно её видеть, обнять, быть с ней...

Вот что я помню... Но помню я это не как покинутость и неразрывную связь ребёнка с мамой в её отсутствие, а как непостижимую любовь ко всему, что мне дорого сейчас... К родителям, семье, дому, Родине, жизни... В моём этом воспоминании я тот человек, который пишет эти строки, а не маленький мальчик.

Необъяснимая живая ясность таких воспоминаний пронзает время, делает прожитые годы и десятилетия не то что короткими или быстротечными, а попросту несуществующими. Эти воспоминания не что иное, как узелки, связывающие жизнь воедино и дающие непостижимое ощущение неразрывности с детством, юностью, с тем, что случилось недавно или буквально вчера. В них я – один и тот же человек, с неизменной душой и чувством жизни... А ещё, именно из-за таких воспоминаний мы так часто видим и осознаём прожитую жизнь как необычайно короткую, а время стремительно летящим.

Глава первая

Самый лучший водитель

Думаю, мне было четыре года, возможно, пять, но никак не больше. Наверное, это случилось в конце июня, хотя точно не знаю. С уверенностью могу сказать, что было лето и всё происходило в Москве.

Как я оказался в столице, не помню совсем. Без всяких сомнений, меня туда привезли родители, но долгого путешествия в двое с половиной суток поездом моя память не сохранила. Не вижу я и маму, и отца не вижу там, в своей памяти, хотя ни с кем другим приехать в Москву я не мог. Не знаю, зачем и почему мы там оказались. Двигались ли мы через Москву куда-то дальше или возвращались с остановкой в Москве, это совершенно не важно. Как долго мы задержались в столице, я точно не помню, наверное, несколько дней. В моей памяти не осталось воспоминаний о таких важных обстоятельствах, как то: где и как мы спали, умывались, ходили в туалет и ели. В Москве проживали родственники, несколько семей, среди них были сёстры бабушки, которые требовали, чтобы я называл их тётями. У кого-то из них мы и останавливались. Помню только длинный коридор, довольно тёмный с бордовыми стенами, и чёрного котёнка, который меня очень интересовал, но мне было сказано, что он дикий и

царапучий, что он меня обязательно сильно поцарапает, а то и лишит глаза. Это меня насторожило, но интереса не убавило. Однако котёнок либо хорошо прятался, либо его спрятали от меня и от греха подальше, так что я помню только то, что там котёнок был, но самого его то ли помню, то ли нет. А может быть, вспоминается мне какой-то другой котёнок из другого времени и обстоятельств.

Из того пребывания в Москве я внятно помню только то, что побывал в Парке культуры и отдыха имени Горького. Это название врезалось в память сразу. Услышал и запомнил. Мне было сказано кем-то, что на следующий день меня поведут в Парк культуры и отдыха имени Горького. Сообщили мне это как радостную весть, от которой я должен был возликовать, и явно удивились тому, что я в Парк имени Горького идти не захотел... Мне стали объяснять, что этот парк – самое интересное и радостное место во всей стране или во всём мире, дети мечтают в него попасть, но не всем выпадает такая возможность и что мне там обязательно понравится. Я же помню свои сомнения и мысли о том, что весёлое место не может быть связано с горечью. Моё воображение нарисовало мне некое большое помещение, в котором детей кормят чем-то невкусным, перчёным или, проще сказать, горьким.

В Парке Горького я тогда побывал с тётёй, то есть с сестрой бабушки, но с которой из двух – не помню. Я, конечно, хотел быть где угодно с родителями, но у них нашлись другие дела.

Помню, что мне не нравилось, что тётя вела себя неестественно мило, говорила со мной, растягивая слова, и чрезмерно заботилась о каждом моём шаге. Я же старался вести себя как меня учили, а значит – ничего не просил, не показывал ни на что пальцем, не перебивал взрослых, то есть помалкивал и слушал тётю, не выдёргивал руку из тётиной руки и даже не пытался куда-нибудь отбежать и что-то рассмотреть.

Колоннада центрального входа в парк меня восхитила, весёлая музыка, шум голосов, нарядные взрослые, которым я был ниже пояса, нарядные дети на моём уровне, сосущие леденцы, жующие снесь или сладкую вату, лижущие мороженое, кричащие, смеющиеся, плачущие, убегающие от кого-то или упирающиеся и волочащиеся. Я такого в таком количестве прежде не видывал и не слыхивал. Конечно, я вертел головой по сторонам, но и посматривал под ноги, туда, где шагали мои белые сандалики, надетые на беленькие носки. Ещё я видел свои коленки, а значит, был в шортах.

Не помню каруселей, качелей или каких-то аттракционов, не помню, было ли мне куплено мороженое или что-то съестное. Запомнился водоём с лодками и запомнилось то, что я хотел оказаться в такой лодке, но тётя сказала, что она грести вёслами не умеет, а у меня сил не хватит с ними справиться. Ещё помню, что устал, а значит, мы там провели много времени. Сохранилась фотография того посещения Парка Горького. На этом фото тёмная лошадка, пони, везёт тележку, набитую детьми. Среди детей хорошо видно белое пятно – это моя голова в белой шапочке. Фото, очевидно, сделал фотограф, который работал в парке, больше некому. То, что белое пятно – это я, мне сказали, а я поверил. Лица разобрать невозможно. Поездки на пони в тележке я не помню совсем.

А потом была долгая очередь, в которой я приуныл и, видимо, позволил себе капризы, потому что тётя в какой-то момент стала со мной строга. Очередь тянулась длинная, и мне сначала было непонятно, за чем она. А потом я увидел. Усталость моя тут же прошла и превратилась в радостное волнение.

Люди стояли в очереди, чтобы прокатиться на диковинных автомобилях по извилистой трассе, петляющей между деревьев. Автомобили были не такие, какие ездили по улицам, а чудесные. Я уже откуда-то и почему-то знал и понимал, что это старинные автомобили, похожие на кареты с большими колёсами. В этих колёсах блестели спицы, а сами автомобили были ярко раскрашены. Один зелёный, другой красный, третий голубой...

Главное, что меня взволновало, – э то то, что за рулём всех этих автомобилей ехали дети. Девочки, мальчики. Старше меня или почти такие, как я. Взрослые оставались наблюдать и махать руками проезжавшим мимо или садились на задние сиденья вместе с теми детьми, которые не решались усесться за руль или им не досталась такая возможность.

Детей за рулём автомобиля я никогда не видел. В родном городе в парке можно было покататься по аллеям на маленьких игрушечных автомобилях. Их давали на время. Папа разговаривал с усатым человеком, у которого было много таких автомобилей, и брал для меня один из них. Но я понимал, что они игрушечные, педальные, детские и ненастоящие, хотя прекрасные. Но тут автомобили были большие, в них могло уместиться несколько взрослых и детей, у них не было педалей, которые нужно было крутить, они ехали сами по себе. К тому же трасса, по которой они ехали, была не прямая, как аллея в парке, не широкая, а узкая и вся извилистая, с крутыми поворотами между деревьев. Я видел, что,

если вовремя не повернуть, автомобиль непременно врежется в дерево, а это авария. Я не верил своим глазам, смотрел на происходящее заворожённо, и сердце моё замирало от одной мысли, что меня пустят за руль.

А ещё больше я волновался из-за того, что я боялся: вот дойдёт очередь до меня, а мне места за рулём не достанется. Или меня сочтут недостаточно большим, чтобы доверить мне управление настоящим автомобилем, и тогда мне придётся просто ехать сзади, как это всегда бывало.

У папы не было машины. Машина была только у одного из наших родственников, у дяди. Мне позволяли в этой машине несколько раз посидеть за рулём под строгим присмотром и, к моему восторгу, нажать на клаксон. Разумеется, машина в это время стояла и даже не была заведена. Когда же она ехала, мне нельзя было рассчитывать даже на место рядом с водителем. Только сзади и только на коленях у кого-то из взрослых. Один раз меня прокатали по двору в кабине грузовика. У мальчика из дома, в котором мы жили, отец водил грузовик, который частенько стоял во дворе. Мальчик тот был по этой причине в большом авторитете. И вот один раз его отец прокатил меня по двору на своём огромном грузовике. Сына он усадил себе на колени и позволил держаться за руль, а я ехал рядом. Это было огромное событие моей детской жизни.

Короче говоря, за руль в Парке Горького я попал. Нам пришлось пропустить вперёд несколько детей, когда подошла наша очередь, чтобы быть самыми первыми в ожидании очередного автомобиля.

– А он не испугается? – спросил тётю дядька, который руководил рассадкой детей по автомобилям.

Не помню, что ему ответила тётя, потому что моё волнение и трепет дошли до предела. Зато я помню, что ожидал каких-то инструкций или напутствия в дорогу... Ну хотя бы какого-то серьёзного совета или запрета. К моему удивлению, ничего такого не последовало. Подошёл очередной автомобиль, и тётя подтолкнула меня к нему. Он был ярко-жёлтого цвета. Это меня слегка огорчило. Совсем чуть-чуть. Я хотел красный. Ну или зелёный.

Впереди автомобиля находилась скамеечка, это и было водительское место. Я его занял. Какой-то мальчик возопил, желая занять его сам, он был больше меня, но я не уступил бы никому и ни за что. Кто ещё сел в мой автомобиль, я не видел

и, была ли среди них тётя, не знаю. Меня это уже не интересовало.

Водительская скамейка оказалась высокой. Я взобрался на неё, но ноги мои повисли, не доставая до пола. Но главное – не доставая педали. Первым делом я всё быстро осмотрел и педаль обнаружил. Настоящая железная. Тогда я встал и ухватился за большой чёрный руль. В центре его вместо кнопки клаксона зияла дыра. Это меня удивило, но я сказал себе, что, видимо, так и надо. Я решил вести автомобиль стоя, так я мог давить на педаль и мне было лучше видно дорогу.

– Держись крепко, не упали, – услышал я голос главного там дядьки. – Приготовились!.. Поехали!..

Я глянул вниз, нашёл глазами педаль и свои ноги в белых сандалиях, быстро поставил правую на педаль и нажал... Автомобиль дёрнулся и поехал. Я сжал руль что было сил и буквально впился глазами в дорогу. Все звуки, все люди, весь мир и даже небо перестали для меня существовать. Остались только руль и дорога.

А дорога была необычная, совсем особенная. Она была узкая, едва шире автомобиля, и состояла из поперечных коричневых досок, уложенных, как шпалы железной дороги, только вплотную и без рельсов. Эта особенная дорога немного возвышалась над землёй и травой. Я понимал, что одно неверное движение руля – и автомобиль съедет с дороги – и всё, обратно ему не заехать.

Сначала дорога шла прямо, но впереди я видел поворот вправо. Он быстро приближался, сердце колотилось, нога давила на педаль, руки сжимали руль... И вот уже поворот... Я повернул руль, он поддался легко, без всяких усилий, и мой автомобиль стал плавно поворачивать строго по дороге. Я понял, что вписался в поворот, хоть и не знал тогда этого термина. Я справился и возликовал...

Но за этим поворотом сразу последовал крутой поворот влево. Я повернул руль, и автомобиль мой послушался и повернул, избежав столкновения с берёзой. Я отчётливо помню ту берёзу.

Дальше шли поворот за поворотом, потом прямой участок и снова повороты. Но я уже вошёл во вкус. Я чувствовал свой автомобиль, а он слушался меня и руля идеально. Пару раз мне показалось, что я запаздываю, но в последний момент

мне удавалось удержать автомобиль на дороге и вырулить.

Я не мог понять, сколько всё это длилось. Мне показалось – очень коротко. Во всяком случае, недостаточно. Мы слишком быстро промчались по трассе от начала до конца. Мне не хватило счастья и радости. Но, когда поездка закончилась чьей-то командой «Стоп» и я убрал ногу с педали, а потом руки с руля, я почувствовал, что и нога, и руки устали от напряжения... И глаза устали от напряжения, и что я молодец. Я впервые управлял автомобилем сразу на такой трудной трассе, и у меня всё получилось великолепно...

Я гордо смотрел на всех. И на тех, кто ждал в очереди, и особенно на тех, кого я прокатил, и на дядьку, который во мне сомневался и сказал, чтобы я крепче держался. Тётя меня искренне похвалила, хотя, помню, что её восхищение не было достаточно бурным... Я сильно жалел только о том, что моего мастерства не видели родители. Они бы радовались сильнее, и им полезно было бы узнать, на что способен их сын.

Я тогда пренебрёг воспитанием и в первый раз за всё пребывание в парке очень попросил тётю ещё об одной поездке, но она сказала, что придётся снова стоять в очереди, которая стала длиннее. Я был готов, но тётя произнесла хрестоматийную фразу взрослых людей: «В следующий раз».

На этом мои воспоминания о том посещении Парка культуры и отдыха имени Горького обрываются.

Мои впечатления от управления автомобилем в московском парке были столь сильны, что я прожил с ними весь последовавший за ними год. Я пытался их передать и изложить родителям, но слишком сильно волновался, сбивался, не находил нужных слов и сокрушённо понимал, что ничего толком рассказать не умею. С друзьями-товарищами по детскому саду получалось лучше. Они меня понимали, им достаточно было вместо слов жестов и звуков, а более всего – моего убедительного восторга. Я ощущал себя обладателем особого опыта и умения. Никто в моём тогдашнем окружении в Москве не бывал и автомобиль не водил.

Пережитое не утихало во мне. Я постоянно вспоминал руль, узкую дорогу, повороты и своё виртуозное вождение. Мне оно снилось. И я мечтал повторить это приключение. Осень, зиму и весну я жил ожиданием лета и поездки в

Москву. Никакие перспективы летнего путешествия в Среднюю Азию, которую планировали родители, меня не вдохновляли, а наоборот. Как только я узнал, что в Среднюю Азию дорога никак не идёт через Москву, сразу устроил сцену отчаяния и горя. Никакие арбузы, дыни и персики, которые ожидали где-то в Фергане, меня ничуть не заинтересовали и не соблазнили. Мне нужен был Парк Горького, а в нём – дорога с чудесными автомобилями. Руль, крутые повороты и моё удивительное умение управлять автомобилем на сложнейшей трассе стали навязчивой идеей.

До лета я дожил, от идеи поехать в Среднюю Азию родители по каким-то своим причинам отказались, и Москва мне была обещана. Даже не стану описывать своей радости.

Однако в начале лета в столицу мы не попали. Не помню почему. Только к середине августа мы оказались в Москве, и довольно коротко. Про август помню отчётливо, потому что всё лето, где бы и как оно ни проходило, считал дни, ждал и канючил.

В Парк культуры и отдыха имени Горького я вновь пришёл в пасмурный день вдвоём с отцом. У кого мы тогда остановились, не помню совсем ничего, ни одной детали. Зато чётко помню, что надел кеды, чтобы удобнее было давить на педаль автомобиля.

Я радовался тому, что идём в парк только вдвоём с папой. Он был мобильным, быстрее, чем мама, ходил, понимал мои интересы и смог бы лучше кого-либо оценить моё гениальное вождение.

Из того похода я запомнил то, что очень спешил. Ни колоннада центрального входа, ни музыка, ни люди меня не интересовали. Мимо водоёма с лодками я быстро протащил отца за руку, понимая, что как раз с ним поплавать можно. Но разве вёсельная лодка могла сравниться с автомобилем?

Место, где находилась вожденная трасса, я запомнил хорошо. Туда я папу и привёл, ни разу не то что не заикнувшись, но даже и не подумав о мороженом, которое продавалось на каждом шагу парка и было таким вкусным в Москве, что в родном моём городе никто и представить не мог.

Возле трассы с автомобилями очередь стояла совсем небольшая в тот пасмурный августовский день.

– Это ты об этом рассказывал? – спросил отец озадаченно. – Ты вот об этом нам все уши про жужжал?

Я не мог ошибиться. Это было то самое место, куда я так всей душой и сердцем рвался весь прожитый огромный год. Ограда, калитка входа на территорию трассы, будка на входе, дядька возле будки, деревья... Всё было прежнее. Но где же автомобили и трасса моей мечты?

Я увидел медленно ползущие по специально оборудованной дорожке цветные тележки с большими колёсами, весьма грубо оформленные в виде допотопных автомобилей. Посередине дорожки, по которой тащились тележки, был проложен жёлоб, по которому двигался трос. К этому тросу совершенно беззастенчиво и открыто были прикреплены так называемые автомобили. Трос протягивался по жёлобу – автомобили ехали. Всё было очевидно и наглядно. Некоторое время я ничего не мог ни сказать, ни поверить тому, что вижу.

Сначала я подумал, что за год, этот бесконечно долгий год, тут всё-всё поменяли. Прекрасные автомобили раздали или продали родителям каких-то московских детей, или их все до одного украли, или произошло нечто ещё более ужасное...

Но потом я увидел автомобиль-телегу ярко-жёлтого цвета. Это был тот самый мой дивный автомобиль, о котором я так мечтал, о котором я рассказывал друзьям-товарищам и который мне снился. Я и узнал и не узнал его... Моё удивление было сокрушительно сильным. Точнее, я был потрясён.

Суть моего потрясения заключалась в вопросе, который звучал в моём сознании: как я мог всего этого не видеть? Как я мог не заметить откровенного надувательства? Как я мог этим так восхищаться и об этом так страстно мечтать?

Я ничего не сказал отцу. Он со мной ехать не собирался. Я мрачно, молча ждал своей очереди. Цвет автомобиля меня совершенно не интересовал. Когда предназначавшаяся мне телега подкатила, я, не обращая ни на кого внимания, пошёл и занял место у руля. Нарядная девочка с нарядной мамой села сзади.

Девочка радовалась и волновалась.

– А мы не быстро поедem? А этот мальчик хорошо будет рулить? – спрашивала она маму.

«Дура», – подумал я.

Скамейка, на которую я уселся, была ребристая и неудобная. В прошлый раз я этого не заметил и не ощутил. Ноги мои стали за год длиннее, но до пола и педали всё ещё не доставали, но я и не подумал вставать и хоть на что-то давить.

Руль был передо мной. Я взялся за него одной рукой и слегка повернул. Он легко поддался, без малейшего сопротивления. Тогда я крутанул его и отпустил. Руль свободно совершил пару полных оборотов вокруг оси. Он ничем не управлял. Он был фальшивкой.

Телега, грубо оформленная под автомобиль, покатилаcь без всякого нажатия на педаль. Она ехала медленно и поскрипывала. Я не держался за руль совсем, а перед поворотом вправо крутанул его влево, телега повернула по дорожке. Девочка взвизгивала от волнения и восторга. А я назло неизвестно кому вертел руль то в одну, то в другую сторону. От этого ничего не происходило.

Меня жёг стыд перед отцом. Каким глупым и маленьким он считал меня...

Я смотрел на деревянную дорожку, по которой катился мой убогий автомобиль, и не мог понять, как я не видел в прошлый раз жёлоб с канатом, который проходил посередине дорожки? Я мучительно напрягал память, но не мог вспомнить этого жёлоба, а теперь смотрел на него и видел, какой он очевидный и ничем не прикрытый. Мне показалось, что ехали мы бесконечно долго, и мой позор никак не заканчивался.

– Это то, чего ты хотел? – спросил папа, когда я вернулся к нему.

Я молча кивнул.

– Ещё хочешь прокатиться?

Я отрицательно помотал головой, глядя на папину обувь.

В тот день что-то весёлое всё же произошло. Мы долго плавали на лодке. Папа ловко грёб и маневрировал. Наша лодка скользила быстрее всех остальных, а от движения вёсел в воде возникали водовороты. На дне лодки у нас в ногах плескалась вода, в которой плавалдохлый размокший жук. Той водой я намочил ногу. Наличие воды в лодке создавало ощущение настоящей опасности и вообще чего-то настоящего. После обнаружившейся фальшивки и обмана на трассе с автомобилями мне было важно и радостно всё настоящее. А ещё я гордился тем, как мой папа ловок, силен и умел. После лодки было ещё что-то, в том числе и мороженое. Об этом я помню смутно или почти совсем не помню.

А потом я много думал... Эти мысли я помню ярко и живо. Они были не детские и не взрослые, они были такими же, как мои сегодняшние.

Я думал о том, что же произошло со мной? Я успокоился и заставил себя понять, что то, чем я восхищался, то есть сам аттракцион – дорога и автомобили, остались такими же, а значит, что-то произошло со мной. Это я понял.

Вот только я не мог вспомнить, как и когда со мной произошли изменения. Я просто жил год с воспоминаниями о своём прекрасном управлении чудесным автомобилем. Жил себе и жил. Жил каждый день, и ничего со мной особенного не происходило. Да, я вырос за год из какой-то одежды и обуви. Да, у меня выпало несколько зубов и несколько проросло новых. Да, мне стали чаще говорить о том, что меня ждёт школа, и что я уже большой, чтобы делать так-то, и что следует делать и вести себя иначе. Но в себе я изменения не чувствовал. Мои воспоминания о радости, случившейся со мной в Москве в Парке Горького, не менялись, и вдруг...

Вдруг я увидел то, от чего был в восторге, полностью иначе и совершенно другими глазами. Это значило, что мне нужно признать то, что незаметно для себя я изменился и с этим поделаться ничего нельзя, невозможно. Я уже больше никогда не увижу восхитившие меня автомобили как прежде, так меня уже не обмануть, и вообще следует быть внимательнее.

Так я думал... Так я думаю и теперь... Сколько раз со мной случались подобные открытия и, наверное, будут случаться. Чем те мои размышления отличаются от таких, как: «Почему же я был так увлечён этой идеей? Она меня вдохновляла, и

я не сомневался в её истинном значении. Как я мог так заблуждаться?! Это же фикция, демагогия, и ничего больше!» или «Как долго я был очарован этим человеком, полностью ему доверял и был убеждён в его порядочности! Как я мог быть настолько слеп? Он же вероломен, жаден и откровенно циничен... Да он и был таким всегда, я просто не желал этого видеть... Я был очарован, и всё... Теперь же пелена с глаз упала...».

Вот так работают эти узелки... Ещё до школы, ещё с молочными зубами, с остатками веры в Деда Мороза я уже был неизменным человеком, живущим свою собственную, полную таинственных смыслов жизнь.

Глава вторая

Модные брюки и другие прихоти

Наверное, самыми болезненными узелками, напоминающими о себе в самые неожиданные моменты жизни, являются острые и даже режущие воспоминания, связанные с переживанием сильного стыда, такого стыда, про который говорится: «Мне хотелось провалиться сквозь землю». Какое верное и мудрое высказывание! Такие узелки хочется развязать, успокоить себя тем, что постыдные события произошли давно, когда ты был юн и глуп, когда ты всё воспринимал обострённо и излишне мнительно, что пора бы над произошедшим посмеяться и забыть... Но не получается... Узелки стыда только затягиваются туже и не отпускают.

Как, например, можно стыдиться того, что произошло со мной пятнадцатилетним? Да весь этот смешной возраст только и был наполнен разными глупостями, порой милыми, но в основном – не очень.

На грани каких роковых ошибок оказывался я и мои друзья-товарищи, не чувствуя никакой опасности в свои пятнадцать-шестнадцать лет! А как много непоправимого и губительного сотворено в этом дурацком возрасте многими и многими...

Конечно, нельзя, бессмысленно стыдиться того, что было пережито в последние школьные годы. Вот только узелки памяти не спрашивают. Они просто завязываются и не отпускают.

Конец апреля, пятнадцатого в моей жизни, выдался сухим и погожим. Таким погожим и тёплым, что можно было ходить в школу без верхней одежды. Мы все ждали майских праздников, длинных выходных и послаблений в учёбе.

Тогда-то меня и направили от нашего класса на три дня с отрывом от уроков на сборы школьных активистов. Направил меня туда наш классный руководитель. Он преподавал нам алгебру и геометрию.

Я не был политически активен, не рвался в официальные лидеры и совсем не жаждал школьной карьеры. Просто я был разговорчив, много читал и любил блеснуть эрудицией на темы, не связанные со школьной программой. Классный руководитель считал меня человеком способным, но выскочкой и лентяем. По его предметам я учился плохо, точнее, не учился совсем и не собирался, будучи уверенным, что знание математики мне в жизни никогда не пригодится.

Когда заведующая воспитательной работой нашей школы потребовала выделить одного учащегося на сборы активистов, наш математик сразу назвал меня. Он не хотел отрывать от учебного процесса тех, кто добросовестно работал на уроках и кому пропуски занятий были бы вредны. А меня ему было не жалко. Он всё про меня и про всех учеников нашего класса хорошо понимал. Он знал, что по точным предметам я всё равно не учусь, а всякие другие типа истории, литературы или географии и пропустить не грех, к тому же я как болтун легко по ним всё наверстаю.

Сборы активистов проходили в одной из центральных школ, здание которой было самым старым школьным зданием в городе. К его входу вела широкая лестница, а фасад торжественно украшали колонны. В этой школе учились «центровые». И весь город знал, что учениками этой школы являются дети городского и областного руководства, а также отпрыски директоров заводов, промышленных объединений, фабрик, редакторов телевидения, газет, радио, главных врачей больниц и даже сын директора центрального рынка. Проще говоря, золотая молодёжь. Знать. Это была не типовая школа спального района, как моя, а настоящий дворец среднего образования.

В первый день я поехал на сборы активистов в школьной форме. Белая рубашка – это всё, чем я выразил уважение и почтение тому мероприятию. На входе у всех спрашивали, не активисты ли мы, и, получив положительный ответ, записывали фамилии и номера школ. После этого нас направляли в актовъй зал. Внутри та центральная школа тоже была нарядная: с широкой лестницей, высокими потолками, лепниной и прочей классической красотой.

В актовом зале, похожем на театр, нас собралось человек сто. Мы как-то расселись. Самый активный городской активист уже не школьного возраста бодро и чётко огласил программу сборов. Из неё мы узнали, что у нас все три дня по утрам будут часовые общие лекции, потом общий завтрак, потом работа по группам, потом общий обед, потом снова работа по группам, потом общее подведение итогов дня, потом некое неформальное общение, и так все три дня.

– В шестнадцать часов сегодня и завтра все смогут расходиться до дома, – сказал главный активист, завершая выступление, – а послезавтра, в конце нашей с вами работы, состоится прощальный вечер... Точнее, не вечер... Скорее прощальный бал... Не бойтесь, вальс вас никто заставлять танцевать не будет, – на этих словах он сам посмеялся собственной шутке, – просто будет прощальный сбор, на котором мы будем петь песни, разученные за время нашей плодотворной работы... А сейчас вводная лекция. Для этого я приглашаю на сцену...

На сцену поднялась главная городская активистка и стала говорить о сложной политической обстановке в мире. Память любого нормального человека, особенно в пятнадцатилетнем возрасте, отказывается фиксировать и хранить то, что было тогда сказано.

Я сидел почти сзади всех и с краю, поэтому мог разглядеть собравшихся. Этим я и занялся. Мне сразу стало ясно, что лекцию никто не слушает. Многие собравшиеся тихонечко переговаривались, передавали записки, вертели головами, улыбались друг другу, подмигивали или что-то показывали жестами. Из этого я сделал вывод, что многие, большинство, не первый раз на подобных сборах.

Ещё я увидел, что в основном участники меня постарше на год-два. В пятнадцать лет это видишь сразу. Но, главное, я понял, что только я один явился в школьной форме. От этого мне стало тоскливо. В пятнадцать лет почувствовать себя дураком можно от чего угодно. То, что я очевидный новичок,

заняло все мои мысли.

Как после лекции всех разделили на группы и по каким критериям – это неинтересно, да и не помню я. Мне досталась группа номер три. Чем занимались остальные группы, я не знаю. Наверное, чем-то подобным занятию нашей.

Общий завтрак был накрыт для нас в столовой. Светлое большое помещение, огромные окна, длинные столы на десять человек каждый и хороший запах чистоты. В столовой нашей школы всегда пахло варевом и несвежей половой тряпкой, а один раз в неделю – хлоркой.

Завтрак подали очень хороший. Какао, чай, омлет и свежие пирожные. Активисты завтракали шумно, смеялись, болтали. Я же никого не знал, чувствовал себя, что называется, не в своей тарелке и был скован школьной формой. А все остальные, напротив, были веселы и раскованны. Те, с кем я оказался за столом, со мной радушно поздоровались, но не более того.

Окружавшие меня мальчики и девочки были одеты если и не нарядно, то дорого и престижно. Многие поблёскивали и поскрипывали кожаными пиджаками и жакетами, что тогда говорило о больших возможностях родителей. У всех была хорошая обувь, и почти у всех на руках я заметил часы. Я тогда ещё часы не носил.

Для некой групповой работы нас распределили по четырём помещениям. Моя группа номер три оказалась в кабинете истории, судя по оформлению и висящим по стенам портретам и картинкам. Мальчиков и девочек в той группе было примерно поровну. Руководителем нам была назначена высокая, прямая, совершенно белолицая с очень быстрыми холодными глазами и тонюсенькими губами студентка университета. Она сама нам сказала, что студентка.

Сначала она предложила всем нам представиться. Для этого каждый по очереди встал, назвал своё имя, фамилию и номер школы.

– Чего это вы так вырядились? – спросила она по окончании процедуры знакомства. – Мы здесь собрались не веселиться и не для демонстрации нарядов. Похвально, что вы относитесь к нашим сборам как к празднику, но будьте завтра скромнее... – На этих словах она посмотрела на меня. – Но только не до такой степени... У нас общегородское мероприятие. Быть одним из нас –

большая честь!..

Она выглядела и голос её звучал так, будто она прошла с тяжёлыми боями не одну войну, пережила голод, лишения и перенесла смертельное заболевание. Вера её в исполняемую миссию была абсолютной. Ей надо было подчиняться.

Первый час она что-то рассказывала об особых задачах молодёжи в современном обществе, задавала вопросы. Второй час мы что-то писали. Потом был обед. Очень хороший. Посуда, ножи, вилки нам подали как в ресторане.

Понемногу я начал общаться с другими ребятами. В целом мне было небезынтересно. Бессмысленно, но не скучно. Мне даже пару раз удалось задать заинтересовавшие руководителя нашей группы вопросы, один раз толково ответить на её вопрос и дать остроумный короткий комментарий во время общего обсуждения, которому все посмеялись. Я обратил на себя внимание. Помню, что, когда моему комментарию посмеялись, у меня вспотела спина и ладони. В пятнадцать лет обмен веществ работает великолепно.

К концу первого дня я познакомился с одним парнем из нашей группы, и мы прогулялись, точнее, он проводил меня до остановки, подождал со мной нужный мне автобус, а сам пошёл восояси. Он жил в центре и учился в той самой школе, в которой проходили сборы. Он сам завёл знакомство со мной. Я бы не решился. Он выглядел старше меня, так мне показалось. Одежда его была взрослая. Чёрный пиджак тонкой кожи, модные спортивные туфли и дорогие брюки.

Он сразу завёл разговор о музыке и книгах. Я показал свою осведомлённость. Интересы наши совпали. Мы слушали одну и ту же, мало кому из наших сверстников знакомую, музыку и читали модную фантастику. Мой новый знакомый счёл меня достойным своего внимания. А он был из центровых ребят и оказался моим ровесником. Он не скрывал своего ироничного и даже насмешливого отношения к тем сборам, в которых мы участвовали, и к самим активистам. Он не лукавил и признался, что сам числится активистом исключительно из карьерных соображений. Его отец был крупным руководителем чего-то, и будущее моего нового знакомого было определённым. Он знал, что будет поступать на юридический и ему нужна биография. Он сам именно так и сказал.

Да. Мне на тех сборах все казались взрослее меня. В них было видно чёткое знание того, что они хотят и к чему готовятся. Я же ещё и не думал о том, что буду делать после школы. Впереди было больше года школьной жизни. Это казалось бесконечным сроком.

Но главное, что придавало взрослости тем ребятам в моих глазах, – это их дорогая одежда и то, как они её носили. Они носили её обычно, буднично, свободно. Тонкий кожаный пиджак моего нового знакомого был в самом лучшем смысле поношен, помят, и было видно, что он к нему относится легко, как к одному из.

У меня же к тому времени не было ни одной такой же дорогой вещи в гардеробе. Был, правда, только дерматиновый пиджак на трёх пуговицах, который, на мой взгляд, был очень похож на настоящий кожаный. Он для меня был слишком серьёзный, и я не находил повода его надевать. Себе я в нём очень нравился, но я не знал, как в нём себя вести, чувствовал в нём себя скованно, и он висел в шкафу, надёванный пару раз. К тому же он был такой твёрдый и скрипучий, что, казалось, каждое движение в нём привлекает всеобщее внимание.

Помня замечание по поводу моей школьной формы и требование, адресованное всем, одеться скромно, но со значением, я пришёл на следующий день на сборы в серых брюках от своего единственного костюма и в тёмно-синем свитере. Мне думалось, что в том свитере я похож на Эрнеста Хемингуэя с его самого известного фотопортрета, который украшал стены многих домов, в которых читали книги. Быть похожим на Хемингуэя означало – быть мужественным и романтичным, при этом небрежным и свободным в одежде. И я хотел быть таким.

На немногочисленных фотографиях того моего возраста я почти всегда стою скрестив руки на груди. В таком положении мне виделось, что мои бицепсы кажутся больше, а плечи шире.

Когда в наглаженных брюках и синем свитере я явился на второй день сборов, то сразу увидел, что все пришли одетые ещё шикарнее, чем в первый день. Мой новый приятель подошёл ко мне перед началом утренней лекции, протянул руку, мы поздоровались. Он был в светло-коричневой тончайшей кожаной куртке на молнии, голубой рубашке и при модно завязанном модном трикотажном галстуке под цвет куртки.

– Ты что, на картошку собрался? – спросил он весело.

Я не услышал в его интонации издёвки или высокомерия. Но неуправляемая волей и силой разума кровь прилила к моим щекам. Мне тут же захотелось сбежать, но было некуда. Я почувствовал себя ещё хуже, чем накануне в школьной форме. А когда изящная девочка с тонкими лодыжками и на звонких каблукках, которая из всей нашей группы мне более всего понравилась, спросила, не в поход ли я собрался, чувство позора и полного несчастья овладело душой моей.

Второй день проходил почти так же, как первый. Во время лекции, за завтраком, потом за обедом я мрачно рассматривал моих сверстников. Я уже понял и даже убедился, что попал в их общество случайно, что мне с ними в жизни не по пути. Я доставлял себе удовольствие тем, что выбирал кого-то из присутствующих наиболее дорого и продуманно одетого и старался представить его взрослым и солидным. Это было делать нетрудно и весело. В большинстве парней уже читалась их грядущая карьера. Девочки мне были непонятны.

Сидел напротив меня за завтраком румяный светловолосый парень с круглым лицом и мокрыми толстыми губами в модном замшевом полуковбойском пиджаке, который был туго застёгнут на его упругом, сочном животе, а я злорадно рисовал его портрет двадцать лет спустя. Лысый, потный, в помятом, не застёгивающемся на пузе пиджаке. Я видел его со свисающим на ворот рубашки вторым подбородком, вытирающим пот с лысины и носа. Его худому чернявому приятелю я рисовал засаленные длинные волосы, нестриженные брови, впалые сизые выбритые щёки, дурацкие усы и тонкую шею не в меру пьющего человека, торчащую из ворота рубашки, которая ему сильно велика.

Почти все, кого я видел, легко поддавались в моём воображении подобной трансформации. Я вспоминал виденных мною по телевизору или в кино каких-то директоров, заведующих, каких-то политических и партийных руководителей, дедушкиных или отцовских знакомых и коллег, которые мне не нравились, и примерял их черты окружавшим меня мальчикам.

Я чувствовал себя почти шпионом среди своих сверстников, которые уже или никогда не были такими, как я. Дух Хемингуэя впервые явно затеплился во мне...

На девочек я так, как на парней, смотреть не мог, и воображение моё не могло с ними справиться. Девочки, как я уже сказал, были мне непонятны. Да и в девичьей моде я мало что понимал.

Последний час второго дня сборов мы всей группой разучивали две песни. К нам пришёл нечеловечески жизнерадостный и задорный парень с гитарой, раздал нам слова песен и сам для начала их нам спел блеющим голосом, играя на гитаре. Только во время пения его идиотически весёлое лицо становилось самозабвенно серьёзным и одухотворённым.

– Это самое ужасное в этом мероприятии, – шепнул мне мой приятель, – но неизбежное...

Песни были про молодость, про светлые идеалы и про будущее, которое целиком в наших руках, но главное – на пути к нему не отступить, хотя верные друзья и в этом случае всегда помогут, подадут руку и подставят плечо.

Девочки, в отличие от парней, учили и пели их очень серьёзно, добросовестно и с явным удовольствием. Даже та, с тонкими лодыжками. Как их можно было понять?!

Нам объяснили, что наша группа должна будет исполнить одну из двух песен по нашему выбору на закрытии сборов, а потом обе на школьном дворе в «орляцком кругу».

– Что это за «орляцкий круг»? – спросил я приятеля.

– Это – позор, сам увидишь... – ответил он, – но девки это любят... Так что придётся... Ох, они завтра разоденутся! Может, тебе что-нибудь дать на завтра?.. Все будут при параде...

Я гордо отверг это предложение. Я знал, что в моём гардеробе есть достойные вещи. Пусть их немного, но они есть. Мой почти кожаный пиджак в том числе. Я хоть и лелеял в себе презрение к карьеристам, но всё же полагал, что смогу быть не хуже их одет, хотя бы один день. А больше было и незачем. Больше мне не нужно было с ними встречаться.

К третьему, последнему, дню сборов школьных активистов я оделся так, что на меня оглядывались на улице и пристально смотрели в автобусе. Для окраины города я вырядился вызывающе нарядно. Отец разрешал мне надевать свои весьма экстравагантные ботинки с узкими носами и скошенными каблуками. Они были мне не впору и тёрли, но я решился потерпеть. Скрипучий пиджак искусственной кожи не только звучал и тускло блестел, но ещё и источал неповторимый запах. Изрядная порция отцовского одеколона должна была перебить тот запах. Светло-серая водолазка туго обтягивала шею. Но самой решительной частью моего образа были туго сидящие на мне вельветовые джинсы вишнёвого цвета. Их купили мне ещё летом, на юге у моря. Купили с рук у моряка, который привёз их из дальних стран, как он утверждал, своему сыну, но они не подошли. Я относился к ним чрезвычайно бережно. Это была моя самая дорогая и исключительная одежда.

С большим трудом я уложил свои небогатые и непослушные волосы в прямой, модный тогда, пробор, приподнял их и закрепил маминым лаком для волос. Это я сделал впервые в жизни. То, что я увидел в зеркале, не вызвало у меня сомнений, что я на уровне.

Моё появление не осталось незамеченным. Все активисты так или иначе зацепились за меня взглядом и задержали его на мне. Ребята и девочки из моей группы, с которыми я уже здоровался и знал по именам, каждый по-своему отреагировал на мой наряд. Кто поднял бровь, кто обе, кто увеличил глаза, кто подмигнул, кто сделал выразительную физиономию. Было это выражением восхищения или иронии, теперь понять трудно, а тогда я принял всё только за удивление определённо с положительным знаком.

Все же остальные в тот день были одеты, как и обещал мой единственный приятель, наряднее, чем до того. На многих парнях были шикарной ткани костюмы с жилетами, так называемые «тройки». Это было верхом элегантности. У моего отца такого не было ни одного. И у деда не было.

Девочки оделись... Я не умею описать девичьи наряды, потому что видел их глазами пятнадцатилетнего человека, не разбирающегося ещё в женской одежде. Скажу только, что я таких расцветок, кружев, причёсок и туфель не видел и в кино.

Мой приятель подошёл ко мне, развёл руками и причмокнул губами.

– Ну ты дал! – тихо сказал он восхищённо. – Смело! Я бы сказал, вызывающе... Хард-рок просто...

Сам он был одет в костюм-тройку тёмно-синего цвета в тонкую белую полоску и жилет без полос. На шее его, поблёскивая шёлком, чернел галстук-бабочка.

В джинсах и без рубашки с галстуком оказался я один. У меня не было ни малейшего представления о том, что теперь называется «дресс-код».

– Мощная клеёнка, – пощупав рукав моего пиджака добавил приятель. – Водонепромокаемая сто процентов.

Не понять издёвки было невозможно. Я похолодел. Но не показал вида. Во мне уже созрел и окреп социальный гнев.

– Зато без убийства животных, – с казал я, не зная, что намного опережаю время и мировые тенденции. – Это принципиальная позиция.

– Тут об этом не стоит говорить, – сказал приятель и таинственно усмехнулся.

Мне смутно помнится завершающий сборы день. Лекция, завтрак, обед, какая-то болтовня о том, с какими идеями мы после трёх дней напряжённой работы должны вернуться в свои школьные коллективы и какой безупречный пример учёбы и поведения должны подавать своим одноклассникам и быть опорой и поддержкой учителям в воспитательной работе в столь сложное время.

Руководитель нашей группы по окончании работы с нами всем дала краткие характеристики и похвалила не которых, в том числе и меня. Она отметила оригинальность моих суждений, но сказала, что мне не следует быть столь застенчивым в коллективе единомышленников.

– Твой образ сегодня излишне революционен, – сказала она, заканчивая мою словесную характеристику. – Если выглядишь решительно, то и води себя соответственно.

Многие в нашей группе на этих её словах хихикнули или прыснули смехом. Я же постарался остаться непонимаемым.

Перед заключительным собранием мы почти час репетировали песни с задорным гитаристом. Я даже не пытался петь. Я просто открывал рот вместе со всеми. Девочки пели громко и от души. Парни в основном кривлялись. Гитарист был всем доволен и в своём слепом задоре не замечал пренебрежительного к себе отношения.

Солидные костюмы, белоснежные рубашки, галстуки и причёски парней никак не вязались с их ребяческим кривляньем. В нём ещё проявлялись остатки чего-то детского и человеческого, не вытравленного родительским гнётом, грядущей карьерой и не по годам дорогой одеждой.

Когда песни были окончательно выучены и отрепетированы, мы по команде гитариста сдвинули к стенам часть учебных столов и освободили середину класса. Это мы сделали, чтобы всей группой встать в «орляцкий круг».

Вся группа для этого встала в круг, чередуясь мальчик – девочка. Мальчики брали девочек за талии, а девочки нам клали руки на плечи. Круг получался довольно плотный, без просветов. Это было волнительно для меня.

– Чем это пахнет? – сказала девочка, которая стояла от меня слева.

– Диваном, – весело сказала та, что оказалась от меня справа.

Обе весело похихикали.

В наш круг встал и отложивший гитару задорный песенник. Он оказался ровно напротив меня. Это и был «орляцкий круг». Стоя в нём, мы должны были петь и раскачиваться в такт.

Без гитары сначала пение не заладилось. Мы начинали несколько раз, и наш весёлый песенный руководитель останавливал этот крайне нестройный хор. Девочки пели тоненько и старательно, мальчики бубнили, я безмолвно открывал рот. Руководитель голосил громче всех, улыбаясь широко и радостно.

– Ну так нам первого места не занять! – в очередной раз, прервав песню, счастливым голосом сказал наш маэстро. – Девушки, милые, слушайте друг друга, пожалуйста! Вы прекрасно поёте, у вас дивные голоса, но надо петь

вместе... А вы, джентльмены!.. Давайте уже... Вспомните о том, что вы серьёзные люди и надежда... Я бы сказал, авангард нашей молодёжи. Пойте! А не мычите... А ты... – это он вдруг адресовал лично мне, – ну не надо шевелить губами... Мы все хотим услышать твой голос... Расстегни свой бушлат. Он, наверное, тебя душит... Вдохни полной грудью и давай... Вместе с нами.

Он говорил это настолько дружелюбно, что обижаться было нельзя. Только очень хотелось его придушить.

Я отпустил талии девочек, стоящих рядом со мной, расстегнул свой пиджак, который отчётливо скрипнул, и вернул руки на место. После этого наш руководитель бодро кивнул, и мы снова запели и закачались. Я тоже тихонечко подхватил песню.

Когда мы более-менее стройно спели первую, наш маэстро скомандовал начать вторую. С ней дела пошли лучше. И сама песня была мелодичнее, да и мы, что называется, спелись.

В какой-то момент я втянулся. Да и все втянулись. Сработало таинство совместного дела. Даже мой циничный приятель вполне честно пропевал слова песни мягким и приятным голосом. Покачивания в такт, одновременные вдохи, которые я слышал и чувствовал ладонями, лежащими на девичьих талиях, ритм песни – всё как-то заворожило, настроило нас на одно.

Помню, я испытал даже неизвестное мне удовольствие. Лица поющих ребят стали другими, кто-то из девочек закрыл глаза, и от этого они стали беззащитными и нежными. Я и сам запел почти в полный голос. Мне показалось, что он чудесно сливается с остальными.

Мы спели вторую песню несколько раз от начала и до конца. Мне захотелось продолжить или попробовать спеть первую сызнава.

– Ну что ж, – сказал наш учитель, – совсем другое дело! Давайте ещё разок закрепим обе песни... Согласны?

– Да-а-а... – ответил наш общий, стройный и уже спетый хор.

– Прекрасно! – сказал маэстро, который меня уже не раздражал своим неиссякаемым дружелюбием.

Продолжая широко и открыто улыбаться, он посмотрел на меня, быстро скользнул по мне блестящим взглядом и вдруг, громко, не меняя прежней интонации, обратился ко мне, привлекая всеобщее внимание.

– Друг! – сказал он так, будто мы были друзьями многие годы, совершили кругосветное плавание в одном экипаже, делили последний кусок хлеба, глоток воды и съели не один пуд соли. Он сказал это радостно, без тени подвоха, с верой в глазах и в голосе в то, что он совершает акт дружеской помощи и поддержки. – Друг, – повторил он, убедившись, что я понял, что он обращается именно ко мне, – у тебя ширинка расстёгнута... Ну!.. Начали!..

И он запел. Все остальные тоже запели, уставившись глазами туда, где была моя ширинка. Я тоже запел, как и все, не понимая до конца всего кошмара произошедшего...

А теперь наглядно представьте себе моё положение: двадцать пять человек моих сверстников и я стоим плотным кругом, и всем друг друга прекрасно видно. Пиджак мой распахнут, руки мои разведены в стороны и обхватывают талии двух девочек, то есть я не могу мгновенно что-то предпринять. Мы все стоим держась друг за друга, и выскочить из этого замкнутого кольца, убежать или начать застёгивать ширинку при всех – это невысказано. К тому же, напомним, мне пятнадцать лет.

Осознавая своё положение стремительно мечущимися мыслями, я пропел полкуплета. Окончательно представив себе то зрелище, которое из себя представляю, и видя весёлые глаза окружающих, я ощутил лютое пламя, в котором сгораю, адский, непоправимый позор и всепоглощающее желание исчезнуть, провалиться сквозь землю... Но так пропасть, чтобы меня и не существовало никогда. Чтобы никто обо мне не знал и не смог вспомнить.

К концу песни, уже практически ничего не соображая, я тихонько-тихонько убрал руки с талий девочек. Они, почувствовав это, так же тихонечко и плавно убрали руки с моих плеч... Бесконечно долго допевался финальный припев, и наконец песня закончилась.

Тогда, собрав всё своё мужество, я медленно шагнул назад, разорвав «орляцкий круг», медленно повернулся и неторопливо, шаг за шагом, перестав дышать, вышел из помещения в безлюдный, гулкий коридор и, как можно солиднее, закрыл за собой дверь.

Только пройдя шагов десять и повернув за угол, я наклонился и посмотрел туда, где находился эпицентр моего бедствия. То, что я увидел, превзошло худшие мои предположения. Молния на моих заморских штанах, которые были мне в обlipку, не была не застёгнута, она попросту полностью, напроць, разошлась, была, можно сказать, распахнута, и в открывшемся проёме хорошо были видны мои белые в голубую полосу беспомощные трусы.

Я быстро проверил и убедился, что застегнуть разошедшуюся молнию в моей ситуации нет никакой возможности. Тогда я запахнул пиджак и застегнул его. Он был достаточно длинный и скрывал под собой мою беду. После этого я покинул место позора не оглядываясь.

Как добрался до дома, я не помню, память не могла сохранить этого после такой мощной нагрузки.

Как много прошло с тех пор, сколько казусов и нелепых ситуаций, несравнимо более серьёзных и глубоких, довелось мне пережить, но яркость воспоминания о той злополучной ширинке и не меркнет, и не притупляется.

Как часто, находясь в общественном месте, или на премьере спектакля, или на каком-нибудь торжестве, там, где много нарядных людей и я сам наряден... Как часто и неожиданно меня пронзает страшная мысль о том, что у меня расстёгнута, а то и разошлась ширинка. Мысль эта настигает меня всегда, когда я не могу как-то наклониться и посмотреть или проверить рукой свои брюки. Люди кругом или я в центре внимания... Ужас охватывает меня. Тот самый ужас. Ужас юного человека, из которого я не вырастаю и не взрослею. В этом ужасе я неизменен.

Однако эта поистине душераздирающая история не всё, что завязано в тот узелок памяти. Из этого узла торчит ещё один конец. Моё участие в сборах активистов имело последствия, и практически незамедлительные. Они вплелись в тот самый узел намертво.

Прошло каких-то две недели после описанных мною событий, как наша учительница истории отозвала меня после урока и сказала, что к ней обратились её коллеги, которые имели отношение к организации тех самых сборов, в которых я недавно принимал участие.

Я не мог себе представить, как и откуда коллеги нашей учительницы истории могли узнать про мою ширинку, но первая мысль была именно о ней. Я даже оцепенел на минуту.

Однако коллеги нашей исторички обратились к ней по той причине, что кто-то отметил моё разумное участие в сборах и порекомендовал меня для диспута среди старшеклассников разных школ на разнообразные, волнующие молодёжь темы. Самой волнующей нас темой должна быть тема выбора жизненного пути после школы. Так думали организаторы диспута.

– От нашей школы они хотят тебя, – сказала учительница. – Диспут намечен на (она назвала дату где-то через неделю). Он будет проходить в областной студии телевидения. Организует его молодёжная телевизионная редакция. Они хотят этим диспутом начать целый цикл дискуссионных передач. Ты сможешь? Съёмки будут проходить вечером...

– Это что?.. По телевизору покажут? – ошарашенно спросил я.

– А тебя только это интересует? – самым учительским тоном спросила историчка. – Я бы лучше предложила Яночку или Юлю... Но они спрашивали конкретно про тебя... Да, это будет телевизионная передача.

Я не сразу поверил в то, что услышал. И да, я согласился сразу, как только поверил услышанному.

Не помню, как и когда я захотел, а точнее, страстно возжелал оказаться на экране телевизора. Рано, очень рано. Возможно, это со мной случилось из-за того, что в детских любимых мною передачах показывали рисунки детей, присланные в адрес этих передач. Ведущие радостно показывали те рисунки и называли имена, фамилии и возраст приславших их детей, а также города, где эти дети проживали. На этих рисунках были чаще всего изображены иллюстрации к сказкам, мультфильмам или к детским фильмам, реже это были портреты ведущих или какие-нибудь цветы, явно нарисованные девочками. Я

видел те рисунки и изумлялся, как такую дрянь можно показывать по телевизору? Я знал, что рисую намного лучше и интереснее. У меня были свои собственные замыслы.

Я просил родителей записывать адреса, по которым нужно было посылать рисунки, рисовал и слал. Для этого папа и мама покупали специальные большие конверты.

Ещё были передачи, в которые можно было слать письма с вопросами к ведущим или к актёрам, сыгравшим в детском кино. Много писем приходило девочке, исполнившей роль Красной Шапочки, и мальчику, сыгравшему Буратино в одноимённых фильмах. Эти дети были моими сверстниками, но казались практически сказочными существами. Наиболее интересные и оригинальные вопросы зачитывали вслух, и на них отвечали сами юные актёры или их взрослые партнёры, всеми любимые артисты. Некоторым детям, авторам наиболее удачных писем, герои передач дарили подарки. Эти подарки показывали во весь экран и сообщали, какому мальчику или девочке и в какой город будут они отправлены. Подарками чаще всего были книжки, или не самые лучшие игрушки, или наборы цветных карандашей, или коробки с конструктором. Ничего особенного. Но сам факт возможности получить хоть что-то из чудесного, недостижимого мира и то, что твоё имя может прозвучать с экрана, было мечтой из всех мечтаний... Однако самым главным и вожделенным подарком было приглашение для участия в передаче. Я своими глазами видел ребят, которые что-то нарисовали или написали письмо, и их пригласили и показали по телевизору. Все те дети мне не понравились. Все они были либо слишком маленькие и глупые, либо в очках, либо такие, с какими дружить и играть никто бы не стал. Меня удивлял выбор и вкус ведущих, я же понимал, что куда более достоин.

Писем, рисунков, каких-то историй на телевизионные конкурсы я послал немало. А как только их послал, я уже не пропускал ни одной передачи в надежде увидеть своё произведение. Сколько трепета было в моём ожидании! Сколько горьких слёз было пролито, сколько обид затаено на невнимательных людей, которые не разглядели моих посланий, и на бездарных детей, чьи письма и рисунки выбрали. Сколько утешительных слов мне сказали бабушка, дед и родители. Они уверяли, что я самый лучший, а тех детей просто пожалели. Бабушка даже говорила, что там, на телевидении, привечают только своих и процветает кумовство. Я хотел им верить и верил, потому что другого объяснения просто не могло быть, но мои переживания от этого меньше не

становились.

В те же годы и в том же возрасте я однажды увидел по телевизору мальчика из нашего двора, который жил по соседству. Был праздник, во время которого устраивалось торжественное шествие по центральной площади. Это шествие сопровождалось музыкой, среди идущих людских масс проезжали разнообразно оформленные и украшенные грузовики. На каких-то из них ехали люди, переодетые в исторических персонажей, многие несли воздушные шары и размахивали флажками. Этот праздник всегда снимали и транслировали по местному телеканалу. В столице торжества начинались существенно позже из-за разницы во времени и фрагменты главного празднования показывали в новостях. Местные же торжества показывали в прямом эфире целый час.

Помню, что в тот праздничный день на площадь никто из нашего семейства не пошёл. Все были дома. Телевизор работал. Звучала музыка, по экрану двигались массы людей. Их показывали то откуда-то сверху – и можно было видеть всю площадь, заполненную людьми, то на экране возникало отдельно выхваченное лицо крупным планом.

Я не смотрел это зрелище, а просто маялся без дела. Но в какой-то момент мой взгляд упал на экран, и тут же в нём появился весёлый мальчик, сидящий на шее и плечах взрослого дядьки. Он смеялся от радости и размахивал флажком. Я сразу узнал мальчика из нашего двора и его папу, вот только я не мог поверить в то, что самый обыкновенный соседский мальчишка, часто сопливый и грязный, оказался в чудесном экране.

Я тогда очень взволновался, потребовал немедленного участия в празднике на площади, но, пока я объяснял, почему мне это необходимо, трансляция закончилась. Мне пообещали, что на следующий год мы все непременно пойдём праздновать.

– Но есть, сынок, одно «но», – спокойно и деловито сказал мне папа. – Дело в том, что если ты будешь на площади, то сам по телевизору этого увидеть не сможешь. Потому что нельзя быть одновременно и там, и у телевизора.

Это меня озадачило и заставило задуматься, однако сам факт попадания в телевизор не стал менее желанен. В конце концов, меня могла бы увидеть бабушка или кто-то другой. Кто-то же обязательно увидит!

Что меня как замороженного тянуло на экран, я теперь не могу сформулировать. Я точно не мечтал о славе типа узнаваемости. Я не думал о том, что буду идти по двору или приду с родителями в парк, а все вокруг будут на меня смотреть и говорить: вон тот мальчик, которого показывали по телевизору.

В моём том желании было что-то другое. Что-то, как мне теперь думается, из области мечты о чём-то чудесном. Попасть в Изумрудный город и в Волшебную страну хотелось, но даже детским своим умом я понимал, что это совершенно невозможно. Никак! Желать себе волшебную спичку, шапку-невидимку, сокрушительную силу или умение летать было приятно, как мечтать о всём нереальном и несбыточном. Но телевизионный экран был возможен! Он, конечно, был чудесным пространством и чем-то неведомым, но он был реален, и в нём существовали хоть и очень особенные, но реальные люди.

Когда интерес мой к детским передачам со сказками иссяк, когда я перестал писать письма и слать рисунки в редакцию детских программ, тогда же и желание попасть в телевизор как-то притупилось, забылось и, казалось, исчезло.

Оно снова дало о себе знать в самый неожиданный момент... Мне едва исполнилось тринадцать лет, это я помню и знаю точно. Тогда на экраны всех кинотеатров страны вышел приключенческий фильм, о котором задолго до его премьеры писала пресса, в новостях выходили репортажи со съёмок, и знаменитые актёры, которые снимались в этом кино, давали многочисленные интервью. Столь ожидаемой премьеры я лично припомнить не мог. Афиши возле кинотеатров были более чем многообещающими.

И вот мой папа раздобыл билеты не просто на премьеру, а на сеанс, после которого была заявлена встреча с исполнителем одной из главных ролей. То есть знаменитый актёр приехал в наш город и его можно будет увидеть воочию. К тому моменту жизни я ещё не видел своими глазами, а не через экран ни одного знаменитого человека, ни актёра или певца, ни космонавта, ни спортсмена, ни учёного. Животные и артисты в цирке не в счёт.

Фильм помню смутно, в нём было много не очень убедительных драк и трюков, зато много моря и подводные съёмки. Все ждали большего, но всё равно остались довольны. Самый главный кинотеатр был переполнен. Люди сидели даже на ступенях.

По окончании фильма публика долго аплодировала, потом зажглись фонари, осветившие небольшую сцену перед экраном. Зал шумно вздохнул в предвкушении долгожданной радости. Тут на сцену вышел, точнее, выбежал человек... Зрители затаили дыхание, а потом гулко выдохнули, разглядев, что это всего-навсего какой-то технический сотрудник вынес микрофон.

Прошло около минуты полной тишины, и зал загремел аплодисментами. К микрофону вышел тот, кого все ждали. Он появился прямой, с идеальной осанкой, в ярко-синем костюме, пиджак которого был расстёгнут, и в белой рубашке. Лица его с нашего ряда было не разглядеть.

– Отличный костюм, – тихонечко сказал папа.

– Да уж, – совсем тихо сказала мама.

После своего огромного изображения на самом большом в городе экране актёр у микрофона выглядел маленьким и ненастоящим. Или, наоборот, слишком настоящим.

Он поздоровался со зрителями и сразу пошутил, так что все, в том числе и мои родители, громко засмеялись и захлопали. Я не помню, что он говорил. Помню, что все были довольны и шумно это выражали. Меня занимало другое. Я усиленно заставлял себя понять, что тот человек, который стоит на сцене хорошо знакомого мне кинотеатра, в который я часто ходил и относился к нему вполне буднично... В кинотеатре, который находится далеко от тех пространств, в которых снимается кино и живут знаменитые киноартисты... Вот он стоит здесь, передо мной, и дышит со мной одним воздухом, и если преодолеть каких-то пятнадцать-двадцать метров, то до него можно дотронуться. Это мне сложно было осознать. Об этом я усиленно думал тогда.

Выступление артиста было недолгим, скорее коротким. Завершив его, он всех сердечно поблагодарил за тёплый приём фильма и его самого. Дождавшись окончания аплодисментов, он предложил всем желающим задать ему вопросы. Эти вопросы он попросил написать в записках и передать ему на сцену. Для исполнения его просьбы в зал вышли несколько работниц кинотеатра и пошли по рядам. Меня удивило, что совсем немногие засуетились написать что-то.

Работницы кинотеатра начали собирать записки с первых рядов и передавать их на сцену. Актёр сразу стал их зачитывать и коротко, остроумно, ко всеобщему удовольствию, отвечать. А у меня запульсировало в висках.

Вот впервые я увидел, как люди пишут и передают человеку с экрана свои вопросы, минуя адреса редакций и неведомые расстояния. Я понял, что тоже могу это сделать.

– Папа, мамочка! Дайте ручку, – шёпотом возопил я, – пожалуйста!..

Времени у меня было совсем мало, собирательница записок приближалась. У папы ручка нашлась. Нужна была бумажка. А вот её не оказалось. В папиных карманах и в маминой сумочке не нашлось ни одного листочка. Зато у меня в руке был зажат билет. Точнее, три билета вместе. Обратная сторона этих билетов была чистая. Билеты помялись, но для записки годились. Я расправил билет на бедре, взял ручку, мама подсунула мне сумочку, чтобы писать на твёрдой поверхности... Времени было страшно мало... Я задумался на какое-то мгновение и быстро написал первое, что пришло в голову... Главное, нужно было написать коротко. Мой вопрос состоял всего из пяти слов и вопросительного знака. «Играли ли вы отрицательные роли?» – вот что я написал. Признаться, ответ на этот вопрос меня не интересовал. Мне было важно другое...

Я успел! Как только записка мною была написана, ко мне подошла работница кинотеатра. Я сунул ей мою записку, она взяла её и пошла по ступеням вниз к сцене.

– А мою возьмите! Вот ещё!.. – кричали ей сверху.

– Хватит!.. – ответила она, едва повернув голову и не останавливаясь. – Мы тут до ночи работать не намерены.

Моя записка была последней, которую взяли, по крайней мере с нашей стороны зала. В руках у строгой дамы было несколько бумажек, но моя выделялась. Она была зелёная... Билеты в том кинотеатре всегда были зелёные.

Я, не отрываясь, смотрел, как она медленно идёт к сцене, подходит к ней и становится напротив артиста. Тот ещё продолжает говорить. Заканчивает. Работница кинотеатра протягивает ему записки, в том числе и мою. Это я

хорошо вижу. Он улыбается со сцены, берёт бумажки. Моё колотящееся сердце останавливается. Записка, написанная мною на наших билетах, оказывается в руке артиста, которого я прежде видел только на экране.

Когда к нему подошла работница, которая собирала вопросы с другой стороны зала, артист сделал скупой отрицательный жест и покачал головой, показывая, что записок на сегодня ему достаточно. А значит, моя была самой последней, дошедшей до него.

А он разворачивал записку за запиской, но зачитывал и отвечал не на все. В некоторые он заглядывал, читал и, улыбаясь, прятал в карман.

– В этом послании меня хвалят... – говорил он, – но скромность не позволяет мне огласить написанное... О! Это слишком личный вопрос, я на такие не отвечаю... Простите, не могу разобрать почерк... А вот на этот отвечаю... Какой город вы считаете своим родным?..

Я не слушал вопросы и ответы. Я смотрел на краешек зелёной бумажки, зажатый правой рукой артиста вместе с другими записками. Он выразительно жестикулировал этой рукой. Но свой клочок бумаги я из вида не терял.

Напряжение моё дошло до предела. Папа даже положил мне руку на плечо... Записка, ещё записка... Бумажек в руке осталось мало... И вот он берёт зелёную бумажку... Подносит её к глазам... Читает... Улыбается...

– А вот очень хороший вопрос, – сказал он, – какой-то любознательный зритель интересуется... Играл ли я отрицательные роли... Да...а...а... Как-то так за мной закрепился образ положительного героя. В только что просмотренной вами картине я исполнил роль капитана нашего судна... Я сыграл роль ответственного человека, лидера, который ведёт свой экипаж к победе... Но если бы вы знали, как хотелось мне сыграть злодея-контрабандиста или другого негодяя... Пусть не главаря... Но режиссёр сразу сказал, что моя физиономия и груз предыдущих ролей не позволяют...

Я ликовал. Весь зал слушал ответ на мой вопрос, который знаменитому артисту понравился. Он отвечал на него дольше, чем на другие вопросы, и на нём закончил своё выступление. Я горячо и от души хлопал, когда он попрощался с залом и пошёл от микрофона за экран.

Когда мы вышли из кинотеатра в тёплый вечерний городской воздух, я чувствовал сладкое опьянение от того, что со мной случилось. Это было опьянение, я его помню. Хотя к тому моменту я ещё ни разу не пробовал алкоголь.

– Ну, сынок, ты молодец, – сказал папа и приобнял меня на ходу. – Твой вопрос был самый лучший! Это точно!..

Я был счастлив. Счастлив и потрясён. Мной написанный вопрос на бумажке, которую я держал в руках, попал в руки человеку с экрана. Это было невероятно. Непостижимо! Но это случилось. Впервые я имел контакт с недостигаемым миром.

Помню, с тех пор в моём отношении к кино и телевизору что-то изменилось. А когда в каком-нибудь фильме или телепередаче я видел актёра, который ответил на мой вопрос, читал мною написанное, разобрал мой почерк и держал в руках отправленную мною записку, я радовался ему как человеку не чужому, а как тому, у кого со мной установлены особые отношения. Если кто-то был рядом со мной, когда я видел того актёра на экране, я не без гордости на всех поглядывал. Глядел и думал: а они и не знают, что между нами было...

Короче говоря, я с самого раннего детства мечтал хоть как-то, хоть письмом, хоть рисунком, хоть просто упоминанием моего имени, попасть в экран. Это было необъяснимое глубокое желание. Правда, в свои пятнадцать лет я о нём вспоминал нечасто. Вспоминал скорее с усмешкой. Но оно осталось во мне. Магическое притяжение экрана не оставляло меня, хоть я себе в этом старался не признаваться. Такой уж возраст – пятнадцать лет.

И тут учительница мне сообщает, что вскоре я попаду в телевизор. Причём не тенью в праздничной толпе, не письмом, не запиской, а одним из тех, кого точно покажут и, скорее всего, дадут что-то сказать.

Я согласился на участие в телевизионном диспуте несмотря на то, что тема меня решительно не интересовала, и на опасения, что среди его участников могут оказаться свидетели моего шириночного фиаско.

Не буду рассказывать о своём волнении и ожидании. Это лишнее. Скажу только, что я готовился. Мне позвонили из редакции телевидения и сообщили

предназначенный мне вопрос.

– Отвечать нужно толково, – сказал мне хриплый женский голос, – развёрнуто, но ёмко. Не долго, в общем. Мы хотим, чтобы наши зрители увидели, какая умная и хорошая у нас подрастает молодёжь.

– А как нужно одеться? – спросил я.

– Соответственно, – был ответ.

За те дни, которые предшествовали моему первому в жизни телевизионному опыту, я так или иначе сообщил всем, кого знал и с кем общался, о том, что меня скоро покажут по телевизору. Таких людей было не так уж много. Несколько родственников, несколько одноклассников, несколько приятелей из тех, что жили по соседству, и ещё кто-то. Бабушке я сказал даже раньше, чем родителям.

Одеться я решил серьёзно, в свой единственный костюм. Он мне был великоват, его покупали на вырост с прицелом на то, что он мне послужит до окончания школы. Ответ на предназначенный вопрос я продумал и мысленно затвердил. В день записи телепрограммы я только и думал что о ней. Повторял и повторял про себя то, что собирался сказать, и много раз смотрелся в зеркало.

Прыщ на лбу и наклёвывающийся на правом крыле носа огорчали меня ужасно.

Между школой и телевидением я забежал домой, чтобы переодеться, перевести дух и поесть. Но есть категорически не хотелось, дух перевести не позволило волнение, удалось только переодеться. Мама подобрала мне отцовский галстук и сама его повязала. Я не умел.

Помню, как аккуратно шёл до остановки и как старался не запачкать обувь в автобусе. К телевидению я приехал раньше назначенного времени, но оказался не первым. У пропускного пункта уже топталось несколько таких же взволнованных, как я, моих ровесников. Для входа на территорию телевизионного центра необходимо было предъявить удостоверение личности. А у меня не было такого документа. Паспорт мне ещё не дали. Читательский билет в библиотеку я предъявлять не стал, уж больно несерьёзным документом он был.

К назначенному времени собрались приглашённые девочки и мальчики, затем пришла дама со списком, в котором были наши фамилии. Она нас всех и провела через вахту. Я впервые шагнул на режимный объект.

Студия местного телевидения оказалась небольшим зданием. В нём всё мне было интересно. В первую очередь люди, которые стояли на лестнице и курили. Мужики с усами и длинными волосами, как у хард-рок-музыкантов, на улицах нашего города встречались редко, а тут их было сразу несколько вместе. Могучих женщин в годах и при этом в джинсовых комбинезонах я прежде не встречал, а тут встретил прямо на лестнице с сигаретой во рту. С ней курила дама в длинном платье, с ярким макияжем и непростой причёской.

– А! Наша самая умная молодёжь! – сказала хриплым голосом дама в платье, и я узнал голос в телефонной трубке. – Проходите, я сейчас к вам приду.

Сказав это, она затянулась сигаретой и тут же выпустила дым из носа и рта. А нас провели в фойе с диванами, где мы расселись и стали друг друга разглядывать. Нас собралось полтора десятка человек, может, чуть больше. Две трети чрезвычайно серьёзных девочек, остальные – мальчики. Я один в той мужской компании был без очков. К счастью, никого из моей группы участников недавних сборов школьных активистов среди собравшихся не оказалось.

Вскоре пришла дама в платье и стала нас готовить к записи передачи. Первым делом она сказала, чтобы мы успокоились, не волновались и вели себя естественно и раскованно. От этого моё волнение усилилось многократно, а лица некоторых ребят пошли пятнами.

– Во время нашего диспута всегда смотрите на меня, понятно? – говорила дама очень хрипло. – Не вертите головами, не болтайте между собой... Запомните: если на камере горит красный огонёк, то именно эта камера ведёт съёмку... Ни в коем случае не смотрите в эту камеру, если не хотите выглядеть глупо... Слушайте друг друга, если с чем-то не согласны – спорьте, только никого не перебивайте. Если хотите что-то сказать, поднимайте руку, это нормально... А теперь, если кто-то хочет пить или, наоборот, в туалет, сделайте это... Начнём через десять минут.

Помещение самого съёмочного павильона меня поразило. Оно показалось безгранично большим из-за чёрных стен и потолка. В нём было столько разного

оборудования, что и понять ничего было нельзя. Сверху свисали разнообразные осветительные приборы без счёта, по полу везде лежали толстые, как взрослые змеи, провода, вдоль стен громоздились какие-то ширмы, зеркала, декорации и ещё непонятно что. В центре сооружён был невысокий помост с блестящим полом, по краям которого стояли стулья. Помост был ослепительно-ярко освещён. На него нацелились три здоровенные камеры на колёсах. За камерами стояли длинноволосые усатые мужики. Ещё по павильону туда и сюда ходили очень деловитые люди. Не оробеть было невозможно.

Нас, пришедших, рассадили по стульям на помосте. Под мощными прожекторами было жарко, как под летним полуденным солнцем. Я стал потеть сразу и очень этим озадачился, думая о том, что делать, если по лицу потечёт пот или, того страшнее, под мышками появятся потные тёмные круги. Это меня сбило с толку.

В какой-то момент в павильоне возникла суeta, беготня и перебранка местных сотрудников... А потом вдруг всё замерло и замолчало.

– Так, ребята, – прохрипела дама в платье, – через минуту начнём запись. Постарайтесь быть серьёзными и будьте молодцами... У нас, конечно, запись, а не эфир, но всё же постарайтесь... Ну... Поехали...

Мы сидели по трём сторонам помоста, а она сидела за маленьким столиком, на котором стоял микрофон и лежали листочки. Сказав «поехали», она невероятно преобразилась. Спина её выпрямилась, плечи расправились, лицо засияло широкой, но сдержанной улыбкой...

– Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые наши зрители, – сказала она громким, глубоким грудным голосом без малейшей хрипотцы. – Я приветствую вас в нашей...

И запись программы началась.

– А теперь мы можем непосредственно задать вопросы представителям той самой молодёжи, о которой у старшего поколения сложилось, скажем прямо, не самое лестное мнение, – слегка поменяв позу, сказала ведущая. – Здесь у нас собрались самые обычные старшеклассники из нескольких обычных городских школ... Ребята!.. Скажите, а что вы думаете?..

Она задала вопрос, и девочка, которая сидела рядом со мной, подняла руку. На неё тут же направили свои объективы две камеры, на одной зажёгся красный огонёк, и кто-то из-за наших спин подал девочке микрофон. Я замер, чувствуя, как щекотно по моему виску ползёт капелька пота.

Девочка ответила чётко и внятно. Ведущая поблагодарила её, микрофон тут же забрали, а камеры развернулись в сторону ведущей. Так всё и продолжилось. Я сосредоточенно слушал вопросы, ожидая свой. Ответы ребят пропускал мимо ушей. Кто-то говорил, чеканя слова, как заученный наизусть урок, кто-то мямлил. Я же хотел высказаться так, чтобы показалось, что я размышляю над каждой следующей фразой, хотя, свой ответ я отточил и знал досконально. Позу я себе придумал такую: когда мне дадут микрофон, возьму его в левую руку, наклонюсь вперёд и правой рукой облокочусь на колено. Так, думал я, будет выразительно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/grishkovec_evgeniy/uzelki

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)